

Дороги в колдобинах, по обочинам лебеда и крапива. Кое-где побеги ивняка. Заброшены здешние края, забыты жители. С десяток дворов в деревне, но и те скоро опустеют. Вот отнесут на погост последних стариков, и наступит раздолье для сорняков да кустарников. Заполонят округу, затянут паутиной-порослью и деревушка исчезнет. Холмики да старый погост с крестами напомнят прохожему, что в этом месте люди жили...

— Грунь, Грунь, — позвал старик, укрытый лоскутным одеялом, — включи тарелку. Сводку послушаю.

— Ополоумел, старый, — бабка Груня, опираясь на старенькую клюку, подошла и присела на табуретку. — Какая сводка, ежели давно тарелки нет?

— Видать, приснилась, — прошамкал старик, рукой провел по лицу и взглянул из-под кустистых бровей. — Кто-нить заходил?

— Лекарка заезжала. Кучу пузырьков и таблеток привезла. Хотела тебя послушать, но я не разрешила будить. Она вздумала в больницу увезти тебя. Велела бельишко собрать. Сказала, в следующий раз заберет. Глядишь, поправишься. Архип Сифилитик заглянул, но я не пустила, — сложив руки на коленях, сказала старуха. — Он обещал вечером зайти, баламут этакий.

— Гони его в шею, — булькнул дед Корней. — Покая нет...

— Сам выгонишь, — перебивая, сказала бабка Груня. — Твой дружок.

— Нутро горит, — старик показал на грудь. — Вот туточки. Помру я, Грунь.

Взглянув поблекшими глазами, баба Груша задумалась, потом проворчала:

— Не болтай, Корнейка, — она посмотрела на худое лицо старика. — Всех отнесут на погост, когда

время подойдет. Никто еще не задержался на этом свете больше, чем ему положено. Чуток погоди, отвар налью.

Баба Груша вышла из горницы, загремела посудой и появилась, держа старую кружку. Пришептывая, она придержала голову старика и поднесла отвар.

— Пей, Корнеюшка, — сказала она. — Свежий заварила. Глони маленько, полегчает.

Старик закашлялся. Тонкая коричневая струйка потекла по щеке.

— Все, больше не влезает, — он нащупал полотеничок, вытер лицо. — Видать, лишку глотнул. Оставь. Потом допью. Батяня приснился. Будто сено возили с ним. Стог сметали. Батя подавал навильником, а я утаптывал. А маманька внизу ругалась, что могу под вилы попасть.

— Значит, трава уродится — это хорошо, — прошамкала старуха. — Правда, некого кормить. Скотинку продали. Вон, Клавка Лещиха козу отводит за огороды, а весенняя травка махонькая, сочная, вечером молочка надоит и разносит по дворам. Куда одной-то столько выпить? Нам кружечку принесла. Скусно — страсть! — бабка Груня причмокнула. — Я чаек разбелила и с хлебушком повечеряла.

Бабка Груша замолчала. Опершись на клюку, она сидела, о чем-то думала, качала головой, взглядывала на старика и опять задумывалась. Изредка проводила сухонькой ладошкой по морщинистому лицу, поправляла седую прядь волос, разглаживала складки на залатанной юбке и опять — думы, думы, думы...

Пестрая кошка запрыгнула на кровать. Потерлась башкой об руку старика, прижалась к нему и замурчала: громко и протяжно.

Прикрытый одеялом, дед Корней лежал, в груди

побулькивало, когда старался вдохнуть поглубже, но получалось мелко и редко. Старик приподнимал руку, смотрел и не узнавал ее. Казалось, недавно дрова готовил, возился по хозяйству, а потом расхворался, и сейчас была не рука, а сухая палка, обтянутая кожей. Ушла силушка-то, ушла. Скоро и сам уйдет. Не зря батя с мамкой приснились. Наверное, зовут...

– Дед, уснул, што ль? – похлопала по одеялу баба Груня. – Что-то притих...

– Нет, – завозился старик. – Смотрю, ты сидишь и не шевельнешься. Посчитал, ты задремала. Я належался, аж бока болят. До весны дожили. Наверное, хорошо на дворе. Весна, тепло...

Старуха махнула рукой.

– На улице хорошо. Давеча к Борзунихе бегала, гляжу, деревца листочки всюю пустили. Страсть, какой дух!

– Груш, а ты сообщила нашим, что я помираю? – дед Корней заерзал на койке. – Приедут, аль как? Ну, попрощаться...

– Опять за свое взялся – помру да помру, – прошамкала старуха. – Зимой отправляла письмишко, когда расхворался, до сей поры молчат. Наверное, сгнуло в дороге. Шутка ли, до них тыщу верст, может, поболее. Недолго и затеряться.

– Нет, Грунь, не приедут, – мотнул головой старик. – Далеко добираться. Умотали на край земли и живут, в ус не дуют. Много они бывали в деревне? Три весточки прислали и два разочка приезжали, недельку отлеживались, а больше ни ногой сюда. Заняты! Слышь, а кому избу оставишь?

Баба Груня нахмурилась. Сидела, постукивая клюкой по щелястому полу, смотрела в оконце, за которым всюю зеленели кусты, окинула взглядом старую избу и махнула рукой.

– Да никому изба не нужна, – сказала она. – Вон в деревне, кто-нить отдаст богу душу, отвезли на погост, заколотили избу и стоит она, покуда не рассыплется, пока на дрова не растащат, ежли зима суровая. Много сюда вернулись из городов-то? Да

ни один не появился. Отвыкли от нашенской жизни, далеко от земли ушли.

– Грунь, домовину приготовили? – забулькал дед Корней. – Долго не держи меня в избе – спорчусь, завоняю. Сразу отнесите на погост, сразу.

– Тьфу, чертяка болтливый, – бабка Груня поджала губы и перекрестилась. – Типун тебе на язык! Завоняет... Ишь, какой выискался! Да чему вонять-то – кожа да кости остались. Ты бы кушал, Корней...

– Не хочу, – старик заелозил по одеялу.

– А я ши из молодой крапивки сготовлю, – сказала старуха. – Страсть, какие вкусные! Сметанки нет, но молочком забелю. У Клавки Лещихи возьму. Похлебаешь.

– Ладно, похлебаю, – прошамкал дед Корней, надолго закашлялся. – Все плохо, все...

– Что – плохо? – не поняла бабка Груня. – Что городишь, старый?

Старик молчал, прикрыв глаза, потом сказал:

– Плохо, ребятки не приедут. На внука бы взглянуть. Наверное, большевик стал.

Задумавшись, бабка Груня шевелила губами, что-то шептала и покачала головой.

– Дед, – она стала загибать скрюченные пальцы, – неужто у трех сыновей всего один малец родился? Сколько нашему младшенькому, Витяньке? О, ты не помнишь! Почитай, за тридцать перевалило. А старший, Валерка, поболее всех прожил. Получается, у каждого сынка есть детишки, а может и внучатки бегают.

– Видать, забыл, – булькнул старик. – Фотография-то одна. Другие не присылали. Вот и получается, внук один, а про остальных и слыхом не слыживали. Ладно, когда Валерка уехал на заработки, других переманил. В одном городе живут – скучковались. А сюда не приезжают... Может, заняты, может, далеко – не ведаю.

– В каком городе? – бабка Груня махнула рукой. – Они на краю земли в поселке живут, у черта на куличках. Господи, прости мою душу грешную!

Занесло, где Макар телят не пас. Вот тебе и длинный рупь! Сказывали, там люди возле моря живут, а ездют отдыхать на другое море. Зачем – не понимаю, будто своей воды мало. Вот и хмыздают с моря на море, и получается, что времени не хватает, чтобы до нас добраться. Поэтому носа не кажут. Ну ничего, ничего... Когда-нить образумятся и навелят.

Старик вскинулся, и зашарил рукой по одеялу.

– Грунь, дай-ка отвару испить. Душа не на месте, поджилочки трясутся.

Баба Груня засуетилась. Схватила ковшичек, налила отвара, наклонилась над стариком и, пришептывая, стала поить. Потом забрякала пузырьками на комод, накапала капли и заставила старика выпить.

Дед Корней поморщился, поворочал языком и опять шевельнул рукой.

– Полегчало? – сказала старуха. – Может, покушаешь?

– Не хочу, – сказал дед.

Заскрипела дверь. В избу ввалился крепкий сутуловатый старик. Сбросив галоши, он снял замурзанную фуражку и протянул пакет.

– Накось, Грушка, рыбку, – прогудел он, подошел к кровати и уселся на расшатанную табуретку. – Здорово, Корней! Свеженьких линьков принес. Пусть бабка заварит юшку. Дюже полезна для организма, – и прихлопнул по коленям заскоружлыми ладонями. – Скажи мне, друг ситный, почему я такой здоровый? Ни одна хвороба не берет. Не знаешь? А я скажу... Лучок с чесночком да рыбки побольше – вот и здоровье будет. А ты вредный, ехидный и желчью харкаешься, поэтому все болячки собрал. Понял, старый хрыч?

– Ты, Сифилитик, каким был трепачом, таким остался, – прошамкал старик и заелозил на койке – все же обрадовался, что сосед зашел проведать, но привычно заворчал. – Марш из моей избы, куда оглоблю не испробовал!

– О, ругается, шельмец, значит, будет жить, – дед Архип шлепнул свернутой фуражкой по ладони. –

Подыму тебя на ноги, подыму! Ну, а ежели не поставлю, рядом улягусь. Пушай вместе закапывают на мазарках. Так и знай, друг ситный!

– Уйди с глаз моих, ирод, – забеспокоился старик. – Вся жизнь плешь проедал. Угораздило на фронте встретиться – там житься не давал, в деревню вернулись, ни одного дня спокойно не пожил, а теперь еще на тот свет со мной собрался. Грунька, выгони Сифилитика. Марш отселева, ирод!

– Грушка, – хохотнул дед Архип. – Лучше налей по стопарику! Мы за завтрашний праздник выпьем.

Старуха выглянула из кухоньки и намахнулась на соседа грязной тряпкой.

– Я дам – стопарик! – она нахмурилась. – Ты, Архипка, башкой думай, что городишь. Корней хворает, а ты – выпьем! Что за праздник? – старуха подошла к календарю, оторвала несколько листочков и охнула. – И взаправду, праздник. Корнейка, завтра же День Победы. Твой день, старый, твой!

– Вот говорю, что нужно выпить, – прогудел дед Архип. – Помнишь, как вернулись? Шли по деревне – медали сверкают, а девки стреляют глазками, стреляют. А не забыл, как после войны всей деревней отмечали? О, как гуляли! Да, были времена... Столы расставим в осиннике, хозяйюшки хлопчут, запасы приносят, на столы расставляют, а потом садились, и начинался праздник. Да, были времена... – и старик задумался.

– Разве такое забывается, – неожиданно рассыпалась смешком баба Груня. – Помню, как девки от тебя шарахались. Ни одна не хотела с тобой гулять. Вот уж привез подарочек с войны, Сифилитик!

Дернув себя за клочкастую бороду, дед Архип хохотнул.

– Эть, припаяли прозвище на всю жизньюшку! – опять хлопнул по колену. – С финской войны дома не был. Вернулся, организм не выдержал. Весь покрылся чиряками, весь! По улице вышагиваю, вся грудь в орденах, а от меня, как от прокаженного, шарахались. Все, сифилис привез! А потом не то что выйти, сидеть не мог. Одежку натяну, а снять

не получается — прилипла. Батя глядел на меня, а потом раскусил, отчего чиряки повыскакивали. Поставил настойку из яичек с медом да молочком. Когда выспела, вечерком привел меня на конный двор, одежонку содрал, раскопал конский навоз, который горел, и велел ложиться. Я в яму улегся, он засыпал меня, только лицо из дерьма торчало. Сказал, чтобы до утра лежал и не двигался, сам пошел баню готовить. Вся деревня сбежалась, чтобы на меня поглазеть. И Корнейка, мой друг ситный, стоял и посмеивался. А я лежал и чуял, как по телу букашки и червяки ползали. Щикотно, а шевельнуться нельзя! Ох, кое-как дотерпел до утра. Батьку дождался, он разгреб навоз и я, как был голышом, так и сиганул по деревне. Утро, все на работу идут, бабки возле домов сидят, а я, жердина двухметровая, нагишом несусь. Вся деревня в лежку лежала! Да были времена... — старик замолчал, потом опять в который раз принялся рассказывать. — Ох, как батя веником парил — страх! Отольет холодной водой, в чувство приведет, плеснет на каменку и снова за веник берется. В общем, я на карачках оттуда выполз. А батянька холстину обвязал на поясе и заставил стоять голышом на солнце, чтобы раны покрылись коркой. О, друг ситный, легче в атаку сходить, чем такие мучения принимать! Едва вечер наступил, он заставил выпить стакан самогонки, привел на конный двор и снова меня закопал. А утром в баню. И так три дня гонял. Потом достал эту настойку, и заставил пить. Вонючая, зараза! Недели не прошло, я стал поправляться. Новые чиряки не вылазили, раны затягивались, и я ожил. С той поры ни разу к лекарям не обращался. Едва начинаю хворать, делаю настойку из яичек с молочком, как батя научил, и принимаю. Все болезни как рукой снимает. Вот о чем говорю, Корней, что тебе надо настойку попить. Мертвого на ноги поднимет, а тебя и по-давно. Я утречком принесу. Настоялася. Солью, себе оставляю, тебе притащу и начнешь принимать. Слово даю, еще побегаешь, друг ситный! — дед Архип шлепнул ладонью по колену и поднялся. —

Все, пора домой — вечереет. А ты, Грунь, юшку приготовь из линьков. От нее нутро заработает. На себе проверял. Ну, Корней, до завтра! Утречком заскочу, праздник отметим. А ты, бабка, не ругайся, — он оглянулся. — Забыл спросить... Ваши пишут? Ага, понятно... Вот и мои разгильдяи помалкивают. Значит, нормально живут. А ежели плохо, давно бы примчались. Ну ладно, пойду, — и, наклоняясь, чтобы не удариться лбом, вышел.

На улице смерклося. Баба Груня зашла в горницу. Старик лежал, укрытый одеялом. Изредка заходил в кашле и начинал елозить рукой по одеялке, словно хотел скинуть, чтобы вздохнуть глубоко и спокойно.

— Корней, просыпайся, — затормошила старуха. — Ушицей покормлю тебя.

— А? — дед Корней встрепенулся.

— Ушицу похлебай, — баба Груня присела на табуретку, зачерпнула и осторожно поднесла ложку. — Кушай. Вкусная юшка, сладкая. Хотела щи сварить с крапивкой, но Сифилитик велел ушицу слезать. Рыбка полезная для нутра. Размяла ее, чтобы легче глоталось. Хлебай...

Старик давился ушицей, затажно кашлял, по долгу жевал беззубыми деснами юшку, острый кадык дергался и опять открывал рот, словно птенец. Баба Груня зачерпывала, понемногу вливала в рот наваристую уху и шептала, поглядывая, как дед кушал.

— Вот и, слава Богу, наелся, — сказала она, заметив, что старик плотно сжал губы. — Вкусная ушица? Я тоже похлебала. Чуток осталось. Позавтракаешь.

— Вкусно, — булькнул дед Корней. — Внутрях за-теплело.

— Значит, поправишься, и будем жить, — закивала головой баба Груня. — Глянь, сколько выхлебал — ложек десять, не менее. Архипка же обещал, что поставит тебя на ноги. Ежели Сифилитик сказал, значит так и будет. Настырный — страсть!

Поднявшись, она поправила подушку, старень-

кое одеяло, чтобы дед не замерз. Прошаркала на кухоньке. Погремела посудой. Взглянула на ходики. Протяжно зевнула и мелко перекрестила рот. Налила немного отвара, и вернулась в горницу. Опять присела на табуретку, посмотрела на старика и чуть приподняла голову.

— На, глотни, — сказала она. — Немного поспишь. А утречком Архипка придет. Искупаем тебя. Пиджачок с медалями достану, рубаху чистую. Посидим, праздник отметим. Так и быть, налью по рюмочке и сама опрокину с вами.

Старик забеспокоился.

— Дай, — зашамкал он и задвигал рукой. — Дай пиджак.

— Эть, неугомонный, — заворчала баба Груня. — Спи! Завтра выташу, завтра. О-хо-хо, глазоньки слипаются. Что-то умаялась.

— Дай, — затревожился старик и стал тянуть одеяло.

Баба Груша поднялась, задернула занавески на окнах — сразу в горнице потемнело, подошла к кровати и зашуршала, снимая покрывало.

— Спи, старый, — она заворчала. — Ночь на дворе. Никуда твой пиджак не денется. Спи, сказала... — заскрипели пружины, и наступила тишина.

Светало, старик заметался, стараясь сбросить одеяло.

— Дай, — забулькал он и закашлялся. — Грунь, Грунька...

Позевывая, баба Груня приподнялась, прислушалась к тишине, перекрестилась и, укрывшись одеяльцем, вскоре засопела.

...Едва взошло солнце, донеслись тяжелые шаги. Распахнулась дверь, в избу ввалился дед Архип, с подстриженной ровной бородой, в рубахе, брюки заправлены в сапоги и в пиджаке, сплошь в нагарах.

— Корней Петрович, Аграфена Васильевна, с праздником! — забасил он, держа банку с белесой жидкостью и бутылку. — С Победой, солдат! Ну-ка, поднимайся. Сейчас наши фронтовые выпьем. Что притихли? — он направился в горницу.

Дед Корней лежал на кровати, на груди пиджак, на котором были потемневшие от времени медали. Рядом сидела баба Груня и неслышно плакала, вытирая слезы платком.

— Корней, как же так, неужто не дождался меня? — банка выскользнула и грохнулась на щелястый пол, резко запахло лечебной настойкой, дед Архип резко дернул себя за бороду и присел на табуретку. — Я пообещал, что поставлю на ноги, а ты взял и помер...

— Когда же покой будет? С грехом пополам задремал, а его принесло — чертяку безрукого, — дернувшись, пробулькал старый Корней. — Грушка, гони этого охламона. Ишь, чего удумал — помер. Всю жизньюшку ждешь, чтобы меня первым снесли...

— А я же взаправду решил, что ты того... Бабка плачет, а ты лежишь и не шевелишься, только нос из подушки торчит, а оказалось — дрыхнешь, зараза такая... Значит, будешь жить! Чуток подожди. Вернись, гулять будем, — дед Архип засуетился и затопал к выходу. — Сейчас приволоку настоечку. Свою банку отдам. Да я для тебя... Да я тебя с того света живым верну. Эх, дружочек мой, — и выскочил, хлопнув дверью.

— Вернешь, Сифилитик, — вслед пробулькал дед Корней и взглянул на жену. — Где моя стопка? Не ворчи — грех. Сегодня праздник. Светлый день.

И дед Корней медленно заелозил, стараясь приклониться к спинке кровати.

А за окном была весна и всюю заливались птицы. ■